

Виктор Астафьев

Пастух и пастушка (фрагмент)

Современная пастораль

Любовь моя, в том мире давнем,
Где бездны, кущи, купола, —
Я птицей был, цветком и камнем.
И перлом – всем, чем ты была!

Теофиль Готье

И брела она по дикому полю, непаханому, нехоженому, косы не знавшему. В сандалии ее сыпались семена трав, колючки цеплялись за пальто старомодного покроя, отделанного сереньким мехом на рукавах.

Оступаясь, соскальзывая, будто по наледи, она поднялась на железнодорожную линию, зачастила по шпалам, шаг ее был суевливый, сбивающийся.

Насколько охватывал взгляд – степь кругом немая, предзимно взявшаяся рыжеватой шерсткой. Солончаки накрапом пятнали степную даль, добавляя немоты в ее безгласное пространство, да у самого неба тенью проступал хребет Урала, тоже немой, тоже недвижно усталый. Людей не было. Птиц не слышно. Скот отогнали к предгорьям. Поезда проходили редко.

Ничто не тревожило пустынной тишины.

В глазах ее стояли слезы, и оттого все плыло перед нею, качалось, как в море, и где начиналось небо, где кончалось море – она не различала. Хвостатыми водорослями шевелились рельсы. Волнами накатывали шпалы. Дышать ей становилось все труднее, будто поднималась она по бесконечной шаткой лестнице.

У километрового столба она вытерла глаза рукой. Полосатый столбик, скорее вострый кол, порябил-порябил и утвердился перед нею. Она спустилась к линии и на сигнальном кургане, сделанном пожарными или в древнюю пору кочевниками, отыскала могилу.

Может, была когда-то на пирамидке звездочка, но, видно, отопрела. Могилу затянуло травую-проволочником и полынью.

Татарник взнимался рядом с пирамидкой-колом, не решаясь подняться выше. Несмело цеплялся он заусенцами за изветренный столбик, ребристое тело его было измучено и остисто.

Она опустилась на колени перед могилой.

– Как долго я тебя искала!

Ветер шевелил полынь на могиле, вытеребивал пух из шишечек карлика-татарника. Сыпучие семена чернобыла и замершая сухая трава лежали в бурых щелях старчески потрескавшейся земли. Пепельным тленом отливала предзимняя степь, угрюмо нависал над нею древний хребет, глубоко вдавшийся грудью в равнину, так глубоко, так грузно, что выдавилась из глубин земли горькая соль, и бельма солончаков, отблескивая холодно, плоско, наполняли мертвенным льдистым светом и горизонт, и небо, спаявшееся с ним.

Но это там, дальше было все мертво, все остыло, а здесь шевелилась пугливая жизнь, скорбно шелестели немощные травы, похрустывал костлявый татарник, сыпалась сохлая земля, какая-то живность – полевка-мышка, что ли, суетилась в трещинах земли меж сохлых травок, отыскивая прокорм.

Она развязала платок, прижалась лицом к могиле.

– Почему ты лежишь один посреди России?

И больше ничего не спрашивала.

Думала.

Вспоминала.

Часть первая

БОЙ

«Есть упоение в бою!» – какие красивые и устарелые слова!..

Из разговора, услышанного на войне

Орудийный гул опрокинул, смял ночную тишину. Просекая тучи снега, с треском полосую тьму, мелькали вспышки орудий, под ногами качалась, дрожала, шевелилась растревоженная земля вместе со снегом, с людьми, приникшими к ней грудью.

В тревоге и смятении проходила ночь.

Советские войска добивали почти уже задушенную группировку немецких войск, командование которой отказалось принять ультиматум о безоговорочной капитуляции и сейчас вот

вечером, в ночи, сделало последнюю свертотчаянную попытку вырваться из окружения.

Взвод Бориса Костяева вместе с другими взводами, ротами, батальонами, полками с вечера ждал удара противника на прорыв.

Машины, танки, кавалерия весь день металась по фронту. В темноте уже выкатывались на взгорки «катюши», поизорвали телефонную связь. Солдаты, хватаясь за карабины, зверски ругались с эрэсовцами – так называли на фронте минометчиков с реактивных установок – «катюш». На зачехленных установках толсто лежал снег. Сами машины как бы приосели на лапах перед прыжком. Изредка всплывали над передовой ракеты, и тогда видно делалось стволы пушчонок, торчащих из снега, длинные спички пэтээров. Немытой картошкой, бесхозяйственно высыпанной на снег, виделись солдатские головы в касках и шапках, там и сям церковными свечками светились солдатские костерки, но вдруг среди полей поднималось круглое пламя, взнимался черный дым – не то подорвался кто на мине, не то загорелся бензовоз либо склад, не то просто плеснули горючим в костерок танкисты или шофера, взбодряя силу огня и торопясь доварить в ведре похлебайку.

В полночь во взвод Костяева приволоклась тыловая команда, принесла супу и по сто боевых граммов. В траншеях началось оживление.

Тыловая команда, напуганная глухой метельной тишиной, древним светом диких костров – казалось, враг, вот он ползет-подбирается, – торопила с едой, чтобы поскорее заполучить термосы и умотать отсюда. Храбро сулились тыловики к утру еще принести еды и, если выгорит, водчонки. Бойцы отпустить тыловиков с передовой не спешили, разжигали в них панику байками о том, как тут много противника кругом и как он, нечистый дух, любит и умеет ударять врасплох.

Эрэсовцам еды и выпивки не доставили, у них тыловики пешком ходить разучились, да еще по уброду. Пехота оказалась по такой погоде пробойней. Благодушные пехотинцы дали похлебать супу, отделили курева эрэсовцам. «Только по нам не палить!» – ставили условие.

Гул боя возникал то справа, то слева, то близко, то далеко. А на этом участке тихо, тревожно. Безмерное терпение кончалось. У молодых солдат являлось желание ринуться в кромешную темноту, разрешить неведомое томление пальбой, боем, истратить

накопившуюся злость. Бойцы постарше, натерпевшиеся от войны, стойче переносили холод, секущую метель, неизвестность, надеялись – пронесет и на этот раз. Но в предутренний уже час, в километре, может, в двух правее взвода Костяева слышалась большая стрельба. Сзади, из снега, ударили полторасотки-гаубицы, снаряды, шамкая и шипя, полетели над пехотинцами, заставляя утягивать головы в воротники оснеженных мерзлых шинелей.

Стрельба стала разрастаться, густеть, накатываться. Пронзительней завывали мины, немазанно скрежетнули эрэсы, озарились окопы грозными всполохами. Впереди, чуть левее, часто, заполошно твюкала батарея полковых пушек, рассыпая искры, выбрасывая горячей вехоткой скомканное пламя.

Борис вынул пистолет из кобуры, поспешил по окопу, то и дело проваливаясь в снежную кашу. Траншеи хотя и чистили лопатами всю ночь и набросали высокий бруствер из снега, но все равно хода сообщений забило местами вровень со срезами, да и не различить было этих срезов.

– О-о-о-од! Приготовиться! – крикнул Борис, точнее, пытался кричать. Губы у него состылись, и команда получилась невнятная. Помкомвзвода старшина Мохнаков поймал Бориса за полу шинели, уронил рядом с собой, и в это время эрэсы выхаркнули вместе с пламенем головатые стрелы снарядов, озарив и парализовав на минуту земную жизнь, кипящее в снегах людское месиво; рассекло и прошло струями трассирующих пуль мерклый ночной покров; мерзло застучал пулемет, у которого расчетом воевали Карышев и Малышев; ореховой скорлупой посыпали автоматы; отрывисто захлопали винтовки и карабины.

Из круговерти снега, из пламени взрывов, из-под клубящихся дымов, из комьев земли, из охающего, реющего, с треском рвущего земную и небесную высь, где, казалось, не было и не могло уже быть ничего живого, возникла и покатила на траншею темная масса из людей. С кашлем, с криком, с визгом хлынула на траншею эта масса, провалилась, забурлила, заплескалась, смывая разъяренными отчаяньем гибели волнами все сущее вокруг.

Оголодалые, деморализованные окружением и стужею, немцы лезли вперед безумно, слепо. Их быстро прикончили штыками и лопатами. Но за первой волной накатилась другая, третья. Все перемешалось в ночи: рев, стрельба, матюки, крик раненых, дрожь

земли, с визгом откаты пушек, которые били теперь и по своим, и по немцам, не разбирая – кто где. Да и разобрать уже ничего было нельзя.

Борис и старшина держались вместе. Старшина – левша, в сильной левой руке он держал лопатку, в правой – трофейный пистолет. Он не палил куда попало, не суетился. Он и в снегу, в темноте видел, где ему надо быть. Он падал, зарывался в сугроб, потом вскакивал, поднимая на себе воз снега, делал короткий бросок, рубил лопатой, стрелял, отбрасывал что-то с пути.

– Не психуй! Пропадешь! – кричал он Борису.

Дивясь его собранности, этому жестокому и верному расчету, Борис и сам стал видеть бой отчетливей, понимать, что взвод его жив, дерется, но каждый боец дерется поодиночке, и нужно знать солдатам, что он с ними.

– Ребя-а-а-ата-аа-а! Бей! – кричал он, взрыдывая, брызгаясь бешеной вспенившейся слюной.

На крик его густо сыпали немцы, чтобы заткнуть ему глотку. Но на пути ко взводному все время оказывался Мохнаков и оборонял его, оборонял себя, взвод. Пистолет у старшины выбили, или обойма кончилась. Он выхватил у раненого немца автомат, расстрелял патроны и остался с одной лопаткой. Оттоптав место возле траншеи, Мохнаков бросил через себя одного, другого тощего немца, но третий с визгом по-собачьи вцепился в него, и они клубком покатались в траншею, где копошились раненые, бросаясь друг на друга, воя от боли и ярости.

Ракеты, много ракет взмыло в небо. И в коротком, полощущем свете отрывками, проблесками возникали лоскутья боя, в адовом столпотворении то сближались, то проваливались во тьму, зияющую за огнем, ощеренные лица. Снеговая пороша в свете сделалась черной, пахла порохом, секла лица до крови, забивала дыхание.

Огромный человек, шевеля громадной тенью и развевающимся за спиной факелом, двигался – нет, летел на огненных крыльях к окопу, круша все на своем пути железным ломом. Сыпались люди с разваленными черепами, торной тропею по снегу стелилось, плыло за карающей силой мясо, кровь, копоть.

– Бей его! Бей! – Борис пятился по траншее, стрелял из пистолета и не мог попасть, уперся спиной в стену, перебирал

ногами, словно бы во сне, и не понимал, почему не может убежать, почему не повинуются ему ноги.

Страшен был тот, горящий, с ломом. Тень его металась, то увеличиваясь, то исчезая, сам он, как выходец из преисподней, то разгорался, то темнел, проваливался в геенну огненную. Он дико выл, оскаливал зубы и чудились на нем густые волосы, лом уже был не ломом, а выданным с корнем дубьем. Руки длинные, с когтями...

Холодом, мраком, лешачьей древностью веяло от этого чудовища. Полыхающий факел, будто отсвет тех огненных бурь, из которых возникло чудовище, поднялось с четверенек, дошло до наших времен с неизменившимся обликом пещерного жителя, овеществляя это видение.

«Идем в крови и пламени...» – вспомнились вдруг слова из песни Мохнакова, и сам он тут как тут объявился, рванул из траншеи, побрел, черпая валенками снег, сошелся с тем, что горел уже весь, рухнул к его ногам.

– Старшина-а-а-а-а! Мохнако-о-ов! – Борис пытался забить новую обойму в рукоятку пистолета и выпрыгнуть из траншеи. Но сзади кто-то держал, тянул его за шинель.

– Карау-у-у-ул! – тонко вел на последнем издыхании Шкалик, ординарец Бориса, самый молодой во взводе боец. Он не отпускал от себя командира, пытался стащить его в снежную норку. Борис отбросил Шкалика и ждал, подняв пистолет, когда вспыхнет ракета. Рука его отвердела, не качалась, и все в нем вдруг застыло, сцепилось в твердый комок, теперь он попадет, твердо знал – попадет.

Ракета. Другая. Пучком выплеснулись ракеты. Борис увидел старшину. Тот топтал что-то горящее. Клубок огня катился из-под ног Мохнакова, ошметки разлетались по сторонам.

Погасло.

Старшина грузно свалился в траншею.

– Живой! Ты живой! – Борис хватал старшину, ощупывал.

– Все! Все! Рехнулся фриц! С катушек сошел!.. – втыкая лопатку в снег, вытирая ее о землю, задышливо выкрикивал старшина. – Простыня на нем вспыхнула... Страсть!..

Черная пороша вертелась над головой, ахали гранаты, сыпалась стрельба, грохотали орудия. Казалось, вся война была сейчас здесь, в этом месте, кипела в растоптанной яме траншеи,

исходя удушливым дымом, ревом, визгом осколков, звериным рычанием людей.

И вдруг на мгновение все опало, остановилось. Усилился вой метели.

– Танки! – разноголосо завопила траншея.

Из темноты нанесло удушливой гарью. Танки безглазыми чудовищами возникли из ночи, скрежетали гусеницами на морозе и тут же буксовали, немея в глубоком снегу. Снег пузырился, плавился под танками и на танках.

Им не было ходу назад, и все, что попадалось на пути, они крушили, перемалывали. Пушки, две уже только, развернувшись, хлестали им вдогон. С вкрадчивым курлыканьем, от которого заходило сердце, обрушился на танки залп тяжелых эрэсов, электросварочной вспышкой ослепив поле боя, качнув окоп, оплавляя все, что было в нем: снег, землю, броню, живых и мертвых. И свои, и чужеземные солдаты попадали влежку, жались друг к другу, заталкивали головы в снег, срывая ногти, по-собачьи рыли руками мерзлую землю, старались затискаться поглубже, быть поменьше, утягивали под себя ноги – и все без звука, молчком, лишь загнанный хрип слышался повсюду.

Гул нарастал.

Возле тяжелого танка ткнулся, хокнул огнем снаряд гаубицы. Танк содрогнулся, звякнул железом, забегал влево-вправо, качнул орудием, уронил набалдашник дульного тормоза в снег и, буравя перед собой живой перекатывающийся ворох, ринулся на траншею. От него, уже неуправляемого, в панике рассыпались и чужие солдаты, и русские бойцы. Танк возник, зашевелился безгласной тушей над траншеей, траки лязгнули, повернулись с визгом, бросив на старшину, на Бориса комья грязного снега, обдав их горячим дымом выхлопной трубы. Завалившись одной гусеницей в траншею, буксуя, танк рванулся вдоль нее.

Надсаженно, на пределе завывал мотор, рубили, перемалывали мерзлую землю и все в нее вкопанные гусеницы.

– Да что же это такое? Да что же это такое? – Борис, ломая пальцы, вцарапывался в твердую щель. Старшина тряс его, выдергивал, будто суслика из норы, но лейтенант вырывался, лез занозно в землю.

– Гранату! Где граната?

Борис перестал биться, лезть куда-то, вспомнил: под шинелью на поясе у него висели две противотанковые гранаты. Он всем раздал с вечера по две и себе взял, да вот забыл про них, а старшина или утерять свои, или использовал уже. Стянув зубами рукавицу, лейтенант сунул руку под шинель – граната на поясе висела уже одна. Он выхватил ее, начал взводить чеку. Мохнаков шарил по рукаву Бориса, пытался отнять гранату, но взводный отталкивал старшину, полз на коленях, помогая себе локтями, вслед за танком, который пахал траншеей, метр за метром прогрызая землю, нащупывая опору для второй гусеницы.

– Пстой! Пстой, курва! Сейчас! Я тебя... Сейчас! – Взводный бросал себя за танком, но ноги, ровно бы вывернутые в суставах, не держали его, он падал, запинаясь о раздавленных людей, и снова полз на коленях, толкался локтями. Он потерял рукавицы, наелся земли, но держал гранату, словно рюмку, налитую всклень, боясь расплескать ее, влаивая, плакал оттого, что не может настичь танк.

Танк ухнул в глубокую воронку, задергался в судорогах. Борис приподнялся, встал на одно колено и, ровно в чикку играя, метнул под сизый выхлоп машины гранату. Жажнуло, обдало лейтенанта снегом и пламенем, ударило комками земли в лицо, забило рот, катануло по траншее, словно зайчонка.

Танк дернулся, осел, смолк. Со звоном упала гусеница, распустилась солдатской обмоткой. По броне, на которой с шипением таял снег, густо зачиркало пулями, еще кто-то фуганул в танк гранату. Остервенело лупили по танку ожившие бронебойщики, высекая синие всплески пламени из брони, досадуя, что танк не загорелся. Возник немец, без каски, черноголовый, в разорванном мундире, с привязанной за шею простыней. С живота строча по танку из автомата, он что-то кричал, подпрыгивал. Патроны в рожке автомата кончились, немец отбросил его и, обдирая кожу, стал колотить голыми кулаками по цементированной броне. Тут его и подсекло пулей. Ударившись о броню, немец сполз под гусеницу, подергался в снегу, и успокоенно затих. Простыня, надетая вместо маскхалата, метнулась раз-другой на ветру и закрыла безумное лицо солдата.

Бой откатился куда-то во тьму, в ночь. Гаубицы переместили огонь; тяжелые эрэсы, содрогаясь, визжа и воя, поливали пламенем уже другие окопы и поля, а те «катюши», что стояли с вечера возле

траншей, горели, завязши в снегу. Оставшиеся в живых эрэсовцы смешались с пехотой, бились и погибали возле своих отстрелявшихся машин.

Впереди все таяла полковая пушчонка, уже одна. Смятая, растерзанная траншея пехотинцев вела редкий оружейный огонь, да булькал батальонный миномет трубою, и вскоре еще две трубы начали бросать мины. Обрадованно, запоздало затрещал ручной пулемет, а станковый замолчал, и бронебойщики выдохлись. Из окопов то тут, то там выскакивали темные фигуры, от низко севших плоских касок казавшиеся безголовыми, с криком, плачем бросались во тьму, следом за своими, словно малые дети гнались за мамкой.

По ним редко стреляли, и никто их не догонял.

Заполыхали в отдалении скирды соломы. Фейерверком выплескивалось в небо разноцветье ракет. И чьи-то жизни ломало, уродовало в отдалении. А здесь, на позиции взвода Костяева, все стихло. Убитых заносило снегом. На догорающих машинах эрэсовцев трещали и рвались патроны, гранаты; горячие гильзы высыпались из копящих машин, дымились, шипели в снегу. Подбитый танк остывшей тушей темнел над траншеей, к нему тянулись, ползли раненые, чтобы укрыться от ветра и пуль. Незнакомая девушка с подвешенной на груди санитарной сумкой делала перевязки. Шапку она обронила и рукавицы тоже, дула на коченеющие руки. Снегом запорошило коротко остриженные волосы девушки.

Надо было проверять взвод, готовиться к отражению новой атаки, если она возникнет, налаживать связь.

Старшина успел уже закурить. Он присел на корточки – его любимая расслабленная поза в минуту забвения и отдыха, смежив глаза, тянул сигарку, изредка, без интереса посматривал на тушу танка, темную, неподвижную, и снова прикрывал глаза, задремывал.

– Дай мне! – протянул руку Борис.

Старшина окурка взводному не дал, достал сначала рукавицы взводного из-за пазухи, потом уж кiset, бумагу, не глядя сунул, и когда взводный неумело скрутил сырую сигарку, прикурил, закашлялся, старшина бодро воскликнул:

– Ладно ты его! – и кивнул на танк.

Борис недоверчиво смотрел на усмиренную машину: такую громадину! Такой маленькой гранатой! Такой маленький человек! Слышал взводный еще плохо. И во рту у него была земля, на зубах хрустело, грязью забило горло. Он кашлял и отплевывался. В голову ударяло, в глазах возникали радужные круги.

– Раненых... – Борис почистил в ухе. – Раненых собирать! Замерзнут.

– Давай, – отобрал у него сигарку Мохнаков, бросил ее в снег и притянул за воротник шинели взводного ближе к себе. – Идти надо, – донеслось до Бориса, и он снова стал чистить в ухе, пальцем выковыривая землю.

– Что-то... Тут что-то...

– Хорошо, цел остался. Кто ж так гранаты бросает!

Спина Мохнакова, погоны его были обляпаны грязным снегом. Ворот полушубка, наполовину с мясом оторванный, хлопался на ветру. Все качалось перед Борисом, и этот хлопающий воротник старшины, будто доской, бил по голове, не больно, но оглушительно. Борис на ходу черпал рукой снег, ел его, тоже гарью и порохом засоренный. Живот не остужало, наоборот, больше жгло.

Над открытым люком подбитого танка воронкой завинчивало снег. Танк остывал. Позвякивало, трескаясь, железо, больно стреляло в уши. Старшина увидел девушку-санструктора без шапки, снял свою и небрежно насунул ей на голову. Девушка даже не взглянула на Мохнакова, лишь на секунду приостановила работу и погрела руки, сунув их под полушубок к груди.

Карышев и Малышев, бойцы взвода Бориса Костяева, подтаскивали к танку, в заветрие, раненых.

– Живы! – обрадовался Борис.

– И вы живы! – тоже радостно отозвался Карышев и потянул воздух носищем так, что тесемка развязанной шапки влетела в ноздрю.

– А пулемет наш разбило, – не то доложил, не то повинился Малышев.

Мохнаков влез на танк, столкнул в люк перевесившегося, еще вялого офицера в черном мундире, распоротом очередями, и тот загремел, будто в бочке. На всякий случай старшина дал в нутро танка очередь из автомата, который успел где-то раздобыть, посветил фонариком и, спрыгнув в снег, сообщил:

– Офицерья наглушило! Полна утроба! Ишь как ловко: мужика-солдата вперед, на мясо, господу – под броню... – он наклонился к санинструктору: – Как с пакетами?

Та отмахнулась от него. Взводный и старшина откопали провод, двинулись по нему, но скоро из снега вытащили оборвыш и добрались до ячейки связиста наугад. Связиста раздавило в ячейке гусеницей. Тут же задавлен немецкий унтер-офицер. В щепки растерт ящичек телефона. Старшина подобрал шапку связиста, выбил из нее снег о колено и натянул на голову. Шапка оказалась мала, она старым коршуньим гнездом громоздилась на верхушке головы старшины.

В уцелевшей руке связист зажал алюминиевый штырек. Штырьки такие употреблялись немцами для закрепления палаток, нашими телефонистами – как заземлители. Немцам выдавали кривые связистские ножи, заземлители, кусачки и прочий набор. Наши все это заменяли руками, зубами и мужицкой смекалкой. Штырьком связист долбил унтера, когда тот прыгнул на него сверху, тут их обоих и размичкало гусеницей.

Четыре танка остались на позиции взвода, вокруг них валялись полузанесенные снегом трупы. Торчали из свежих суметов руки, ноги, винтовки, термосы, противогазные коробки, разбитые пулеметы, и все еще густо чадили сгоревшие «катюши».

– Связь! – громко и хрипло выкрикнул полуглухой лейтенант и вытер нос рукавицей, заледенелой на пальце.

Старшина и без него знал, что надо делать. Он скликал тех, кто остался во взводе, отрядил одного бойца к командиру роты, если не сыщется ротного, велел бежать к комбату.

Из подбитого танка добыли бензин, плескали его на снег, жгли, бросая в костер приклады разбитых винтовок и автоматов, трофейное барахло. Санинструкторша отогрела руки, прибралась. Старшина принес ей меховые офицерские рукавицы, дал закурить. Перекурив и перемолвившись о чем-то с девушкой, он полез в танк, пошарил там, освещая его фонариком, и завопил, как из могилы:

– Е-е-эсть!

Побулькивая алюминиевой флягой, старшина вылез из танка, и все глаза устремились на него.

– По глотку раненым! – обрезал Мохнаков. – И... немножко доктору, – подмигнул он санинструкторше, но она никак не ответила на его щедрость и весь шпанс разделила по раненым,

которые лежали на плащ-палатках за танком. Кричал обгорелый водитель «катюши». Крик его стискивал душу, но бойцы делали вид, будто ничего не слышат.

Раненный в ногу сержант попросил убрать немца, который оказался под ним, – студено от мертвого. Выкатили на верх траншеи окоченелого фашиста. Кричащий его рот был забит снегом. Растолкали на стороны, новытаскивали из траншеи и другие трупы, соорудили из них бруствер – защиту от ветра и снега, над ранеными натянули козырек из плащ-палаток, прикрепив углы к дулам винтовок. В работе немного согрелись. Хлопались железно плащ-палатки под ветром, стучали зубами раненые; и, то затихая в бессилии, то вознося отчаянный крик до неизвестно куда девшегося неба, мучался водитель. «Ну что ты, что ты, браток?» – не зная, чем ему помочь, утешали водителя солдаты.

Одного за другим посылали бойцов в батальон, никто из них не возвращался. Девушка отозвала Бориса в сторону. Пряча нос в спекшемся от мороза воротнике телогрейки, она стучала валенком о валенок и смотрела на потрепанные рукавицы лейтенанта. Помедлив, он снял рукавицы и, наклонившись к одному из раненых, натянул их на охотно подставленные руки.

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:

- в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
- в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20.

Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20, 2 этаж.